

Григорий Померанц

От сдержанной страсти к холодному пламени

Принято считать, что женщины – слабый пол. Но это не всегда так. Меня захватывали в женщине глубина и сила чувства, и я становился рыцарем своей королевы. Так вспыхнуло чувство к Агнессе Кун, когда ее исключали из комсомола. Она великолепно держалась. Никто так не держался, как она...

Это было в черную зиму 1937–38 учебного года. Непрерывно разбирались личные дела сына или дочери отца, изъятого из семьи, из любви, из жизни – по статье 58–1а, или 58–6, или 58–10, 11... На лобном месте побывал каждый третий из сидевших в зале. Он или она потеряли или притупили бдительность. Потеряли – те, чьи родственники когда-то как-то отметились в истории и не успели вовремя умереть. Притупили бдительность маленькие люди, подхваченные большой метлой террора. Арест считался доказательством вины. А речи присяжных ораторов, тошно вспоминать, выражали согласие с действиями компетентных органов. И в знак общего согласия все подымали руки.

С действиями органов соглашалась и Агнесса. Но стиль ее подчинения коммунистической дисциплине был таким образцово коммунистическим, что никто не мог понять, кто же сегодня образцовый коммунист, если именно ее клеймят и припечатывают резолюцией собрания. Нелепость процедуры и трагизм этой нелепости бросались в глаза. И Агнесса с ее мучительным подчинением партии, которая всегда права, не терялась, как

личность, раздавленная машиной, а выростала, как Лир в степи, как королева с головы до ног.

Я был потрясен, но ничего не мог сделать. Мы не были знакомы. Я мог противопоставить машине Большого Террора только свою интуицию искренности Агнессы в ее верности коммунистическому долгу, – каковы бы ни были разногласия ее отца с «генеральной линией», о которых она ничего не знала. Несколько дней спустя она еще больше меня поразила поступком, не имевшим прецедента. Она вошла в факультетский комсомольский комитет комсомола и заявила, что считает неправильным поведение комсомолок Млынек и Шульман, переставших с ней водиться. Если они считают ее врагом народа, то должны продолжать знакомство, чтобы выявить и разоблачить врага. А если считают ее лично невиновной, то чего они боятся? Ведь неповинных у нас не сажают? В самом деле, чего люди в 1937 г. боялись?

Растерявшийся Яша Блинкин, секретарь комитета, не знал, что сказать в ответ. Подумав, он вызвал подруг и дал им нахлобучку. Поджав хвост, они приползли к Агнессе с извинениями. После этого Агнесса простила Аню Млынек, а Фриду Шульман прогнала. Я никогда не хотел спрашивать королеву, почему она вынесла два разных приговора. Воля королевы – высший закон.

Несколько дней спустя я подошел к ней и сказал, что хотел бы поближе познакомиться. Она согласилась, и адрес указал мне единственную неопечатанную комнату, уставленную реквизированной когда-то имперской мебелью. Подробностей

разговора не помню, но с первых слов я стал ругать Сталина. Историк Большого террора скажет, что это невероятно. Но ей-Богу, это факт. Я стал ругать Сталина за трусость. Он испугался заговора и готов расстрелять сто ни в чем неповинных, лишь бы не уцелел тайный враг, готовый стрелкнуть в него, как стреляли в Кирова. Агнесса со мной согласилась. Нам обоим не приходило в голову, что никакого заговора не было, что Сталин сам заказал Кирова... Потом перешли на литературу; запомнилось, как Агнесса разбирала любовные сцены у Льва Толстого и Максима Горького; Горький, по ее словам, словно в замочную скважину подглядывает... Остальное стерлось, забылось.

Спускаясь с лестницы, я повторял себе: у Агнессы арестовали не только отца и мать, но и мужа. Она полюбила его двенадцати лет, вышла замуж шестнадцати – и шесть лет до ареста были годами счастья. Огонь, разгоревшийся в моем сердце, надо гасить. Ей нужен друг. И шесть недель я не заходил на Воздвиженку, выращивая в себе друга. Потом зашел, сердце снова вспыхнуло, и еще три недели ушло на борьбу с инерцией чувства. Этих трех недель хватило. Я добился того, что считал нужным. Я стал верным рыцарем, искренне сочувствующим любви своей королевы.

Оглядываясь назад, я удивляюсь, как это мне удалось так преобразить себя. Думаю сейчас, что я вовремя спохватился. В первый миг, в который я начал борьбу, сердечный огонь не успел сползти вниз, туда, где живет дух примитивной страсти, изображаемой в древней индийской мифологии в виде свернутой змеи. Пока она дремлет, сердце свободно в своих поворотах. Но

если она проснется... Тогда вспоминается страсть Мити Карамазова. И нужно чудо, чтобы покорить ее.

В дни своей молодости я убедился, что в нас живут два тлеющих огня, слепой чувственности и зрячего чувства. Первый связан с гениталиями; второй коренится в грудной клетке, но центр его не в сердце, давшего ему имя, а возле сердца, точно посередине груди¹. Там нет ничего очевидного, одни позвонки. Но мне было восемнадцать лет, когда я вдруг его почувствовал и он сразу, без доказательств, отбросил то, чему нас учили на лекциях. С тех пор я прислушивался к точке посреди груди, и она обладала высокой чувствительностью к фальши. Потом оказалось, что в ней еще гнездится, разгораясь, любовь и единовластно правит сердцем, пока не коснется гениталий; а коснувшись – или подчиняется им, или вступает в борьбу и преобразует половую силу в глубокую жизненную силу, стремящуюся к возвышению духа. Впоследствии я нашел образ всего этого в индийской системе чакр, незримых звеньев духовного столба, идущего от гениталий до венчика святости над головой. Я, впрочем, испытал только взаимодействие первых трех звеньев.

По моему опыту, осознание духа первых двух звеньев и взаимодействие между ними возможно и без мифологического символизма. В гениталиях живет дух рода, а в грудной клетке дух личной любви. По крайней мере, это так у *homo sapiens*. Улыбка любви у матери вызывает ответную улыбку у младенца; мать и дитя – первое воплощение пары любящих. В дальнейшем

¹ Не там ли солнечное сплетение, которому бьют боксеры? Но я не специалист по боксу...

возникают другие пары, но у некоторых людей любовь к матери или к отцу остается главной до самой смерти и может иногда запретить начинающийся роман (или держать его на втором месте). Это воплощено в «Саге о Форсайтах», в рассказе Ларисы Миллер о своей юности и во многих подобных историях. Другой парадокс чувства встречается чаще: целомудренное горение сердца, далеко не сразу, робко стучится в прозрачную стену, отделяющую мужскую и женскую страсть. Французский писатель Альфонс Карр хорошо сказал об этом: «на предмете моей любви всегда были бронзовые одежды». Толстой цитирует Карра в рассказе «После бала». Я это сразу запомнил и впоследствии пережил.

Всё, впрочем, прекрасно, пока не стало чрезмерным. Так и «бронзовые одежды» могут стать тяжелыми оковами. Незримая бронза не раз создавала стену между трепетом влюбленности и завершением любви. В рассказе Платонова «Река Потудань» «бронзовые одежды» мучают своей чрезмерной прочностью и захватывают целый период жизни любящих. Это редкий случай, но я знаю подобный эпизод и в знакомой семье. Только у простых животных нет никаких проблем, связанных с душой, личностью и т.п. Змеи клубятся кучей и откладывают яйца без лишних забот. Но на высших ступенях эволюции, шаг за шагом, возникают зачатки сердечного чувства, одухотворяющего весь процесс от зачатия до зрелости потомства.

Власть высших звеньев духовного столба над чувственностью – одно из отличий культуры от инстинкта. А культура немислима без иерархии, без превосходства духовно высшего над духовно

низшим. Эта иерархия полностью осуществляется только у некоторых людей, и только у очень немногих выстраивается иерархия высших звеньев духовного столба, вплоть до венчика святости, который видели некоторые свидетели над головой старцев. Об одном таком случае вспоминал Мотовилов.

В человеческом обществе рядом существуют люди, дошедшие до святости, и люди, находящие свою отраду в подражании змеям. У греков это называлось вакханалией. А там, где полностью сложилась власть чакры сердца, стихия скована бронзовыми цепями.

Бронзовыми были формы кружка, сложившегося вокруг опальной королевы: двое девушек (Аня Млынек и Аня Погосова), двое юношей (я и Нёма). Девушки устраивались в ногах у Агнессы, возлежавшей на своем ложе, а молодые люди усаживались на креслах. И все одинаково проникновенно слушали, как Агнесса читала свои любимые стихи Тютчева и Блока.

Решительность, с которой я перешел от порыва влюбленности к высокой дружбе, вызвала у Агнессы желание понять, как это получилось, и однажды, наедине, она меня спросила, был ли я когда-либо влюблен. Я промолчал. Тогда она, подумав, задала вопрос иначе: «Какие у тебя любимые слова?» Я ответил: «холодное пламя». Агнесса кивнула головой и сказала: «А у меня – сдержанная страсть».

Сейчас, семьдесят лет спустя, я нахожу, что Агнесса ошибалась, думая, что наши любимые слова высказывали родственные чувства. Это были имена разных чувств. «Сдержанная

страсть» вела к гармонии супружеских отношений, к господству сердца над стихией чувственных взрывов, способных и дать силу любви, и разрушить любовь, втянув ее в вакхические игры, истощить усталостью, отупением, отвращением друг к другу и даже кончив убийством, как в «Крейцеровой сонате» Льва Толстого. Я думаю, что Анатолий Гидаш, превосходивший шестнадцатилетнюю девушку годами и опытом, провел ее мимо всех опасностей страсти.

Но «холодное пламя» – это просто не о том. Если пустить в ход индийские термины, то «сдержанная страсть» – это переплетение двух звеньев, сердца с чувственной стихией (которой сердце не дает разгуляться). Это союз (или, если хотите, сплетенье) двух первых звеньев духовного столба, проходящего сквозь позвоночник, но поднимающегося выше, к уровню венчика на буддийских и христианских иконах.

Идеал сдержанной страсти не требует осознания всего духовного столба, вплоть до святости. Он достижим без религиозных исканий. Его проблемы – семейные и социальные. Его вершины – справедливость в обществе и любовь в семье. Культура сдержанной страсти помогла Агнессе сыграть свою роль и в русской политической трагедии; но выше она не подымалась. Если судить по отбору стихотворений, читавшихся Агнессой, то для нее где-то на втором плане оставались прорывы сквозь бездну, потрясавшие меня у Тютчева и остававшиеся для меня главным в его наследии:

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О, бурь заснувших не буди -
Под ними хаос шевелится!..

Эти стихи вели за границу пространства, времени и материи, к внутреннему свету.

Для идеала сдержанной страсти довольно первых двух звеньев. Другое дело – холодное пламя. Оно рождается при целомудренной закрытости от области, описанной Бахтиным в его книге о Рабле. Холодное пламя вспыхивает у Паскаля в глубоком одиночестве и только изредка, у немногих, находит напарника. Это способность подыматься до восторга творческих открытий, не имевших ничего общего с эротической влюбленностью. Так это было при создании моей курсовой работы «Величайший русский писатель» зимой 1938–39 г.

Таким образом, наши любимые слова вели меня с Агнессой в разных направлениях. Одно – к совершенной радости на брачном ложе (это мне дано было лет через двадцать), другое – к совершенной радости на одиноких путях к высшим истинам. Мои сбивчивые наброски в этом направлении Агнесса не поняла и не

приняла. Наша дружба это выдержала. Но шаг за шагом она отступала у меня от первого места, отдавая первенство беседам с Владимиром Романовичем Грибом.

Я уже писал, что наши беседы были чем-то уникальным. Владимир Романович задавал мне вопрос и дальше напряженно слушал, указывая одним словом или жестом или выражением лица, что я сбиваюсь на поверхностные ходы мысли. И я мгновенно понимал его и исправлял ошибку. Двадцать лет спустя мне припомнилось это, когда слушал стихи Зинаиды Александровны Миркиной, и я, подумав, взял на себя роль Гриба, а она – роль ученика. И когда эта игра раскрыла во мне творческие способности и началась череда моих эссе, роль Гриба и его ученика попеременно переходила от одного к другому – от меня к Зине и от нее ко мне. Так мы возродили традицию, оборванную смертью Гриба, умершего от белокровия в возрасте тридцати двух лет.

Вспышки холодного пламени окрасили собой 1938–39 учебный год. Это были мгновения восторга, когда я вскакивал в три часа ночи и записывал несколько новых строк, посвященных «Запискам сумасшедшего» Толстого и «Запискам из подполья» Достоевского. А потом произошло то, что однажды уже было в истории русской литературы: Владимир Романович Гриб, получив мою рукопись от Пинского, не смог заснуть и в пять часов утра пошел пешком с Поварской на Усачевку – попросить меня в ученики (я был учеником Пинского, а не Гриба); и Пинский отдал ему меня, и наши три беседы стали началом традиции, существующей и сегодня, и если Бог даст, – сохранится после нас.

Но здесь пора поставить точку и завершить главу, посвященную высокой дружбе с Агнессой, Грибом и Пинским. Надвигалась война, в которой я нашел часы вдохновения, и резолюция политотдела округа, вышвырнувшего меня на помойку, и три года ожидания ареста и всё случившееся потом: месяцы впитывания лагерного опыта от соседей по камерам Лубянки и Бутырок и философские беседы в лагере, оборванные смертью Сталина...

Все это частично вошло в «Записки гадкого утенка», а частично подождет новых глав в серии, начатой сегодня, в рассказах о незапечатленных эпизодах из жизни с Ириной Муравьевой и в месяцы, заполненные ее смертью... А потом в неожиданном открытии глубин, воскресивших меня, в стихах Зины и во всем, что мы начали вместе...

Остается только завершить то, что связывало меня с памятью об Агнесе. Я не знал достоверно, что Агнесса испытала во время войны. Кажется, она была интернирована, как иностранка, потом выпущена. Когда наши войска штурмовали Будапешт, пришло неожиданное счастье: понадобились какие-то венгры для послевоенной политики, и Анатоля Гидуша реабилитировали. Он вернулся в Москву. Но Сталин еще жил, о Беле Куне и его жене не вспоминали. Каприз деспота мог все переменить. И все же Анатолий и Агнесса, после шести лет разлуки, соединились. Это было маленьким, хрупким чудом, вроде решения Сталина записать 20-й концерт Моцарта и передать Юдиной 20 тыс. рублей. А на Колыме осталось три миллиона крестов...

В зиму 1945–46 года во мне шел новый духовный подъем, подобный взлету после победы над Наполеоном. Я собирался говорить об этом и с Агнессой. Приехав в отпуск из Пинска, где расположилась наша дивизия, я позвонил и зашел к ней. Она куталась в какой-то теплый платок и иногда вздрагивала, хотя в комнате не было холодно. Мне показалось, что она вздрагивает от беспокойного чувства. Может быть, беспокоило ожидание вопросов, на которые трудно было ответить. Я увидел перед собой героиню Корнеля или Шекспира, сошедшую с котурнов. Ей надо было забыть то, что она говорила мне в 1938 году, но я мешал этому одним своим видом. На минуту зашел Гидаш, моложавый, с седой прядью в черных волосах. Агнесса его сразу выпроводила. Видимо, страшно было, что я втяну в открытый разговор выходца с того, колымского света. Кое-как закончив свой визит, я решил не звонить, не писать и не заходить. Рассказы об Агнесе, доходившие до меня, подтвердили это решение. То, что меня покоряло в ней, было сломано страхом за хрупкое счастье.